

## ПОНЯТИЕ «КРАСОТЫ» В СВЕТЕ ИДЕЙ ЭСТЕТИКИ ДОСТОЕВСКОГО

«„Красота спасет мир“. Изречение это за последнее время стало расхожим, так сказать, достоянием массовой культуры», — так начинает свою газетную статью одна исследовательница, иронически критикуя расхожее употребление этой фразы в журналистике, кинематографе, театре и даже в статьях и заметках о многочисленных «конкурсах красоты». Сама же она сформулировала признаки красоты по Достоевскому так: «Любовь к людям, доброта, перенесенное страдание и от этого способность сострадать. Это признаки красоты, далекой от чисто физического ее понимания, духовной, той самой, которая „может спасти мир“» (Г. Л. Боград).<sup>1</sup>

Когда я читал ее статью, я испытывал сознание того, что ее утверждение перекликалось с тревожившим меня вопросом. Вопрос этот состоял в том, почему Мышкин не ответил прямо на вопрос Ипполита в подтверждение слов: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет „красота“»? Думается, что этот вопрос важен не только для персонажей романа, но и для читателя. Изречение Мышкина в тексте романа пересказано было Колей. В известной сцене романа Ипполит далее вторично задает Мышкину вопрос: «Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал... Вы ревностный христианин?» На этот второй вопрос Ипполита реакция Мышкина была сложной; «князь рассматривал его внимательно и не ответил ему» (8, 317).

Что же означает подобная реакция Мышкина на будто бы высказанные им, пересказанные Колей слова? Можно полагать, что князь не высказал свою формулировку безусловно. Князь даже опасался, возможно, что его комментарии к этой формуле будут поняты собеседником неправильно.

Посмотрим, какую мысль о сущности красоты Мышкин высказал прямо. В гостиной Епанчиных перед дочерью генерала он сказал: «Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота — загадка» (8, 66). Здесь речь шла по поводу свойства женской красоты Настасьи Филипповны и Аглаи. Кстати, обратим внимание на то, что Аделаида

<sup>1</sup> После написания данной статьи на аналогичную тему появилась ценная работа Л. М. Розенблюм «Красота спасет мир» (О «символе веры» Ф. М. Достоевского) // Вопросы литературы. 1991. № 11—12.

в той же сцене беседы, всматриваясь в портрет Настасьи Филипповны, комментирует ее красоту так: «Такая красота — сила (...) с такою красотой можно перевернуть!» (8, 69). Таковы были ситуации, касающиеся понятия «красоты» в романе «Идиот».

Вернемся к рассмотрению проблемы, почему автор не дал Мышкину прямо высказать фразу: «Мир спасет „красота“» и даже не дал ему ответить утвердительно на вопрос Ипполита. Достоевскому, вероятно, как и Гоголю, красота представлялась не однозначной, по крайней мере двусмысленной. Когда Достоевский сообщил в известном письме племяннице Соне из Женевы намерение изобразить «положительно прекрасного человека», в его представлении, вероятно, существовало противоположное понятие, так сказать, об «отрицательно красивом человеке». Как ни странно звучит это словосочетание, нам нетрудно увидеть в мире Гоголя и Достоевского образы отрицательной красоты.

Гоголю красота (в частности, женская красота) часто представлялась ведьмовской или адской, способной погубить человека. Вспомним персонажей повести «Вий». Хома был погублен в борьбе с ведьмой-красавицей. Микитка, герой эпизода той же повести, был околдован красотой панночки и исчез. Когда же он вернулся, то вернулся едва живой, иссохнув и сгорев сам собой. В повести «Тарас Бульба» второй сын Тараса Андрий, плененный красотой польки, изменил отцу и родине. В повести «Невский проспект» молодой художник Пискарев, столкнувшись с действительностью, узнал, что в образе проститутки красота сосуществует с развратом, и от шока покончил жизнь самоубийством. В повести «Портрет» демоническая сила, подкрепленная силой денежной, исказила талант художника и лишила его способности восприятия духовной красоты.

Таким образом, у Гоголя нередко встречается понятие об «отрицательной красоте». По словам В. В. Гиппиуса — «вторжение демонического в прекрасное».<sup>2</sup> Поэтому я бы сказал, что и по пониманию красоты Достоевский вышел из гоголевского мира. Но Достоевский и в этом плане, можно сказать, пытался совершить переворот, представить другое понятие красоты. В этом смысле не случайно, что у Достоевского встречаются красавцы, лица которых напоминают маску и которые олицетворяют демоническую, отрицательную красоту. Достаточно вспомнить образы Валковского, Свидригайлова и Ставрогина: общим в красоте их лиц является впечатление маски.

По словам В. Виноградова, «„характеры“, „типы“ Гоголя — это маски (...) с этими „типами“ Гоголя, превратившимися в маски, вступает в борьбу Достоевский».<sup>3</sup> Достоевский как автор, проникнув во внутренность этих типов, обнаруживает их сущность: под масками поверхностной красоты они скрывают бессилие, корыстолюбие, тщеславие, ветреность, внутреннюю пустоту.

<sup>2</sup> Гиппиус В. В. Гоголь. Л., 1924. С. 49.

<sup>3</sup> Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 460.

В отличие от Гоголя, который верил в действие сверхъестественных сил на человека, Достоевский нашел в глубине самой души человека источник добра и зла — свободу склониться и на то, и на другое. В этом смысле очень значительны слова Дмитрия Карамазова, обращенные к Алеше: «...широк человек, слишком даже широк, я бы сузил (. . .) Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, знал ты эту тайну или нет?» (14, 100). Здесь ясно высказано устами Дмитрия понятие «отрицательной красоты».

Когда речь идет о женской красоте, Достоевский особенно соблюдает многозначное ее осмысление. Посмотрим на галерею красавиц из романов: Авдотья Раскольниковы, Настасья Филипповна, Аглая Епанчина, Грушенька, Катерина Ивановна. Значение их красоты проявляется амбивалентно, в зависимости от отношения партнера к ним. Физическая красота Настасьи Филипповны и Грушеньки возбуждает у некоторых партнеров-мужчин нечистые, злые чувства: сладострастие у Тоцкого, Епанчина, Федора Павловича Карамазова; чувственную страсть у Рогожина, Дмитрия Карамазова. И Авдотья Раскольниковы возбуждает у Свидригайлова чувственную страсть. Гордая и по-детски капризная Аглая издевается над Мышкиным, гордая и властная Катерина Ивановна внушает Алеше неизъяснимый страх. Губительная сила их красоты напоминает губительную силу гоголевских красавиц. Но это, с авторской точки зрения Достоевского, лишь видимость. В мире, где господствуют маски, функционирует колдовская прелесть. Вышедший из гоголевского мира Достоевский трансформирует освещение красоты его героев и героинь: однозначное впечатление кажимости ее он заменяет многозначным впечатлением, которое отражает внутренний конфликт психики.

В этом смысле очень многозначительно звучат слова Мышкина о красоте Настасьи Филипповны при рассмотрении ее фотографии: «Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то *сострадание* при взгляде на эти черты» (8, 68; курсив мой. — Т. К.).

Мышкин пронизательно ощущает психологическую раздвоенность Настасьи Филипповны, контрастность несогласных черт ее лица внушает ему сострадание к ней. Именно здесь, по-моему, представлена Мышкиным основа того его ощущения, согласно которому красота может иметь положительный характер и функционировать как сила, спасающая мир. Эта основа — ощущение «сострадания» (иногда оно заменяется словами «симпатия» или «жалость»). При этом я хотел бы подчеркнуть, что надо придать большее значение этим словам как выражению интуитивного взаимопонимания, т. е. буквальный смысл слов «вместе страдать», а не осмыслять их как рационалистическое понятие этического,

морального сострадания, которое легко превращается в своего рода «милость».

Меня интересует именно первое значение, соответствующее диалогическому характеру поэтики Достоевского. Не случайно в известном письме племяннице Соне Ивановой Достоевский отметил как атрибут положительно прекрасного человека, на примере Дон-Кихота, способность возбуждать сострадание. «Но он (Дон-Кихот) прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон (. . .) Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а, стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждающее сострадание и есть тайна юмора» (28<sub>2</sub>, 251). Момент, возбуждающий сострадание, не ограничивается только юмором: им может быть и жалость (судя по упомянутому в письме примеру Жана Вальжана — ср. здесь слова: «он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества»). Во всяком случае для писателя важна не столько красота сама по себе, но тот или иной ее атрибут. Гордость не позволяет принимающим красоту соучаствовать в наслаждении ею. А юмор или жалость вводят эмоцию наслаждающихся красотой в русло положительно прекрасного.

Мне кажется уместным познакомить читателя с одним из классиков японской литературы начала этого века, Сосэки Нацумэ (1867—1916), который подсказал мне постановку темы этой статьи. Японский писатель, на мой взгляд, во многом перекликается с Достоевским и по предметам изображения, и по доминанте построения образов своих героев, и по авторскому отношению к ним, и по свойственной Нацумэ интерпретации функции рассказчика. У Сосэки Нацумэ есть повесть, которая называется «Кусамакура» («Странствование»). Герой ее — художник. Избегая беспокойного, суетливого общества, он останавливается в захолустной деревне с горячими источниками. В гостинице герой встречает красавицу — дочь хозяина. Она разведенная жена и живет у родителей. Художник решает изобразить ее красоту на картине; испробовал, это не получилось. Чего-то не хватало. Он, поразмыслив о причине, спохватывается, что выражение лица красавицы полно гордости, насмешки. Не чувствуется элемента, возбуждающего сострадание. И он говорит: «Забыл, что среди слов, выражающих многообразные эмоции, есть слово „сострадание“. Сострадание есть эмоция, которую не знает Бог, но это эмоция человека, наиболее близкого к Богу».

Художник в конце повести случайно видит сцену, где разведенная жена-красавица на станции случайно замечает прежнего мужа в военном вагоне, среди отправляющихся на фронт. В этот момент на ее потерянном лице проявляется сострадание. Когда художник смог увидеть это неожиданное выражение ее лица, в его представлении возникла картина.

Как мы видели, для японского писателя, так же как и для Достоевского, не красота объекта сама по себе, а элемент, позволяющий сочувствовать и сострадать ему, решает дело. Слово «со-

страдания» означает при этом элемент, отвечающий взаимному диалогическому отношению личностей на уровне ощущения и эмоции. Таким образом, красота, соединенная с «состраданием», — так можно понять и Достоевского, и Сосэки Нацумэ — «спасет мир».

Мышкин, размышляя о любви-страсти Рогожина к Настасье Филипповне, произносит монолог: «Он (Рогожин) говорит, что любит ее не так, что в нем нет сострадания, нет „никакой такой жалости“» (8, 191). «Нет, Рогожин на себя клеветает; у него огромное сердце, которое может и страдать и сострадать. Когда он узнает всю истину и когда убедится, какое жалкое существо эта поврежденная, половинная, — разве не простит он ей тогда всё прежнес, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8, 191—192).

Здесь в сопоставлении любви-страсти с любовью-состраданием недвусмысленно выражена мысль, что только посредством ощущения сострадания будет преодолена содомская сторона красоты и этим человеку будет уготовано спасение. В этом смысле очень значительны слова рассказчика в романе «Братья Карамазовы» об отношении Мити к Грушеньке: «Могу заметить лишь то, что прошлое Грушеньки представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил со всем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идет, то тотчас же и начнется совсем новая Грушенька, а вместе с нею и совсем новый Дмитрий Федорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями» (14, 332).

Слова эти, предсказывающие возрождение Дмитрия, пререкликаются с цитированными словами размышления Мышкина о Рогожине («сострадание осмыслит и научит самого Рогожина»). Обретя любовь Грушеньки, Митя признается Алеше: «Прежде меня только изгибы inferнальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеческим стал!» (15, 33). Это прекрасное провозглашение перехода человека от состояния пленения inferнальной красотой к возрождению той высшей духовной красоты, которая спасет человека, причем ключевую роль здесь играет признание силы «сострадания».

Напомню еще раз слова Аделаиды и Мышкина. Когда Аделаида говорит про красоту Настасьи Филипповны: «Такая красота — сила, с такою красотой можно мир перевернуть!» — она, вероятно, признает красоту лишь в inferнальном смысле. Мышкин же в той же сцене, сказав: «Красоту трудно судить. Красота — загадка», — вероятно, имел в виду трудность однозначного определения красоты. Вероятность подобной интерпретации подтверждают слова в записной тетради с черновыми материалами к «Идиоту». В ней там же, где записаны слова: «Мир красотой спасется», рядом находятся слова: «Два образчика красоты» (9, 222). Не случайно Мышкин, олицетворяющий сострадание к людям, со своей стороны возбуждает

в людях сострадание, иначе говоря, симпатию к нему. В записной тетради к «Идиоту» и письме Достоевского к С. А. Ивановой элементом, вызывающим у читателя симпатию, у Мышкина отмечена невинность (тогда как у Дон-Кихота и Пиквика это их комизм).

Заметим еще одну фразу, приписываемую Мышкину: «Смирение есть страшная сила» — ее цитирует Ипполит в своей исповеди (8, 329). Кстати, и в записной тетради мы неоднократно встречаемся с нею. Профессор Ричард Пис полагает, что слова «Смирение есть страшная сила» указывают на Смирение как на атрибут Красоты. С этим взглядом Р. Писа согласен и я. Далее английский ученый обращает внимание на парадоксальное сочетание элементов второй фразы («смирение» и «страшная сила»), связывая его с символическим смыслом имени и фамилии Мышкина (лев и мышь).<sup>4</sup> Этот анализ и объяснение профессора Писа, по-моему, тоже интересны и убедительны.

Но я бы хотел соотнести понятие «смирение» с категорией «сострадание». По словарям «смирение» означает «отсутствие гордости, высокомерия; сознание своего ничтожества, своей слабости».<sup>5</sup> Это — определенная позиция по отношению к окружающему. И я полагаю, что Мышкин не просто герой романа. Он представляет также важную черту авторского подхода к людям, без его смирения, без его сострадания к людям никто из персонажей романа не открыл бы в себе «человека в человеке».

В этом смысле «смирение» и «сострадание» для Достоевского не отвлеченные моралистические категории, а категории поэтические, связанные с главной художественной идеей автора. Только силы смирения и сострадания, олицетворенные в Христе и в его человеческом подобии — Мышкине, позволили автору осветить положительную духовную сторону красоты его героинь, колебания же в оценке им понятия красоты зависят всякий раз от дифференцированного подхода к ней. «Смирение есть страшная сила». Она преодолевает обманную, колдовскую прелесть «отрицательной красоты», замучившей Гоголя. В русле же раскрытия понятия «положительной красоты» важную ключевую роль играют черты «сострадания» и «смирения», без которых нет той положительной красоты, которая способна спасти мир.

<sup>4</sup> Peace R. Dostoevsky: An examination of the major novels. London, 1971. P. 65.

<sup>5</sup> См., например: Словарь русского языка: В 4 т. М., 1957—1961 и др.